

А. И.
КУПРИН

Избранное



Александр Иванович Куприн

Блаженный

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2471705

Аннотация

«Мы сидели в маленьком круглом скверике, куда нас загнал нестерпимый полуденный зной. Там было гораздо прохладнее, чем на улице, где камни мостовой и плиты тротуаров, пронизанные отвесными лучами июльского солнца, жгли подошву ноги, а стены зданий казались раскаленными...»

Александр Иванович Куприн Блаженный

Мы сидели в маленьком круглом скверике, куда нас загнал нестерпимый полуденный зной. Там было гораздо прохладнее, чем на улице, где камни мостовой и плиты тротуаров, пронизанные отвесными лучами июльского солнца, жгли подошву ноги, а стены зданий казались раскаленными. Кроме того, и мелкая горячая пыль не проникала туда сквозь сплошную ограду из густых, старых лип и раскидистых каштанов, похожих с длинными, торчащими кверху розовыми цветами на гигантские царственные люстры. Резвая нарядная детвора наполняла сквер. Подростки играли в серсо и веревочку, гонялись друг за другом или попарно с важным видом ходили, обнявшись, скорыми шагами по дорожкам. Меньшие играли в «краски», в «барыня прислала сто рублей» и в «короля». Наконец самые маленькие копошились на большой куче желтого теплого песка, лепя из него гречишники и куличики. Няньки и бонны, собравшись кучками, судачили про своих господ, а гувернантки сидели на скамеечках, прямые, как палки, углубленные в чтение или работу.

Вдруг детвора побросала свои развлечения и стала пристально смотреть по направлению входной калитки. Мы то-

же обернулись туда. Рослый бородатый мужик катил перед собою кресло, в котором сидело жалкое, беспомощное существо: мальчик лет восемнадцати – двадцати, с рыхлым, бледным лицом, с отвисшими губами, красными, толстыми и мокрыми, и со взглядом идиота. Бородатый мужик провез кресло мимо нас и скрылся за поворотом дорожки. Я заметил, как тряслась во все стороны огромная остроконечная голова слабоумного и как она при каждом толчке то падала на плечи, то бессильно опускалась вниз.

– Ах, бедный, бедный человек! – произнес тихо мой спутник.

В его словах мне послышалось такое глубокое и такое истинное сочувствие, что я невольно посмотрел на него с изумлением. Я знал Зимина давно: это был добродушный, сильный, мужественный и веселый человек. Он служил в одном из полков, расположенных в нашем городе. Говоря по правде, я не ожидал от него такого неподдельного сострадания к чужому несчастью.

– Бедный-то он, конечно, бедный, но какой же он человек? – возразил я, желая вызвать Зимина на разговор.

– Почему же вы отказываете ему в этом? – спросил, в свою очередь, Зимин.

– Ну... как вам сказать? Это же всем ясно... У идиотов ведь нет никаких высших побуждений и свойств, отличающих человека от животного: ни разума, ни речи, ни воли... Собака или кошка обладают этим качеством в гораздо боль-

шей степени...

Но Зимин прервал меня.

– Извините, пожалуйста, я, наоборот, глубоко убежден, что идиотам вовсе не чужды человеческие инстинкты. Они у них только затуманены... Живут где-то глубоко под звериными ощущениями... Видите ли... со мной был один случай, после которого, мне кажется, я имею право так говорить. Воспоминание о нем никогда не покидает меня, и каждый раз, когда я вижу такого вот блаженного, я чувствую себя растроганным чуть ли не до слез... Если вы позволите, я расскажу вам, почему идиоты внушают мне такую жалость.

Я поспешил попросить его об этом, и он начал:

– В тысяча восемьсот... году я поехал ранней осенью в Петербург держать экзамен в Академию генерального штаба. Я остановился в первой попавшейся гостинице, на углу Невского и Фонтанки. Из окон моих были видны бронзовые кони Аничкова моста, всегда мокрые и блестящие, точно обтянутые новой клеенкой. Я часто рисовал их на мраморных подоконниках моего номера.

Петербург меня неприятно поразил: все время он был окутан унылым, серым покровом затяжного дождя. Но академия, когда я впервые туда явился, прямо меня подавила, ошеломила и уничтожила своей грандиозностью. Я, как теперь, помню ее огромную швейцарскую, широкую лестницу с мраморными перилами, анфилады высоких, строгих аудиторий и навощенные, блестящие, как зеркала, паркетные по-

которым мои провинциальные ноги ступали так неуверенно. Офицеров в этот день собралось человек до четырехсот. На скромном фоне армейских зеленых мундиров сверкали гремящие палаши кирасиров, красные груди уланов, белые колеты кавалергардов; пестрели султаны, золотые орлы на касках, разноцветные обшлага, серебряные шашки. Все это были соперники, и, поглядывая на них, я с гордостью и волнением пощипывал то место, где предполагались у меня в будущем усы. Когда мимо нас, застенчивых пехотинцев, пробежали с портфелями под мышкой необыкновенно озабоченные полковники генерального штаба, мы сторонились от них в благоговейном ужасе.

Экзамены должны были тянуться более месяца. У меня не было ни одной знакомой души во всем Петербурге, и по вечерам, приходя домой, я испытывал скуку и томление одиночества. С товарищами же и говорить не стоило: все они были помешаны на синусах и тангенсах, на качествах, которым должна удовлетворять боевая позиция, и на среднем квадратическом отклонении снарядов. Вдруг я случайно вспомнил, что мой отец советовал мне разыскать в Петербурге Александру Ивановну Грачеву, нашу дальнюю родственницу, и зайти к ней. Я взял справку в адресном столе, отправился куда-то на Гороховую и с трудом, но все-таки нашел комнату Александры Ивановны, жившей на заднем дворе у своей сестры.

Я вошел и остановился, почти ничего не видя. Спиной

ко мне у единственного маленького окна с мутно-зелеными стеклами стояла полная женщина. Она нагнулась над керосиновой плитой, от которой шел густой чад, застилавший комнату и наполнявший ее запахом керосина и пригорелого масла. Женщина обернулась назад и стала присматриваться. В это время откуда-то из угла выскочил и быстро подошел ко мне мальчик, в распоясанной блузе и босиком. Взглянув на него пристальней, я сразу догадался, что это идиот, и хотя не отступил перед ним, но скажу откровенно, что в сердце мое стукнуло чувство, похожее на трусость. Идиот глядел на меня бессмысленно и издавал странные звуки, нечто вроде «урлы, урлы»...

– Не бойтесь, он не тронет, – сказала женщина, идя мне навстречу. – Чем могу служить?

Я назвал себя и упомянул про своего отца. Она обрадовалась, оживилась, разохалась и стала извиняться, что у нее не прибрано. Идиот принялся еще громче кричать свое: «урлы, урлы...»

– Это сыночек мой, он такой от рождения, – сказала Александра Ивановна с грустной улыбкой. – Что ж... божья воля... Степаном его зовут...

Услышав свое имя, идиот крикнул каким-то птичьим голосом:

– Папан!

Александра Ивановна похлопала его ласково по плечу.

– Да, да. Степан, Степан... Видите, догадался, что о нем

говорят, и рекомендуются.

– Папан! – крикнул еще раз идиот, переводя глаза то на мать, то на меня. Чтобы оказать Александре Ивановне внимание, я сказал ему: «Здравствуй, Степан» и взял его за руку. Она была холодна, пухла и безжизненна. Я почувствовал брезгливость и только из вежливости спросил:

– Ему, наверно, лет шестнадцать?

– Ах, нет, – ответила Александра Ивановна. – Это всем так кажется, что ему шестнадцать, а ему уже двадцать девятый идет... Ни усы, ни борода не растут. Мы разговорились. Грачева оказалась тихой, робкой женщиной, забитой неудачами и долгой нуждой. Суровая борьба с бедностью совершенно убила в ней смелость мысли и способность интересоваться чем-нибудь выходящим за узкие пределы этой борьбы. Она жаловалась мне на дороговизну мяса и на дерзость извозчиков, рассказывала об известных ей случаях выигрыша в лотерею и завидовала счастью богатых людей. Во все время нашего разговора Степан не сводил с меня глаз. Видимо, его поразил и заинтересовал вид моего военного сюртука. Раза три он исподтишка протягивал руку, чтобы притронуться к блестящим пуговицам, и тотчас же отдергивал ее с видом испуга.

– Неужели ваш Степан так и не говорит ни одного слова? – спросил я Александру Ивановну. Она печально покачала головой.

– Нет, не говорит. Есть у него несколько собственных

слов, да что же это за слова! Так, бормотанье! Вот, например, Степан у него называется «Папан», кушать хочется – «мня», деньги у него называются «ТЭКи»... Степан, – обратилась она к сыну, – где твои тэки? Покажи нам твои тэки.

Степан вдруг спрыгнул со стула, бросился в темный угол и присел там на корточки. Я услышал оттуда звон медной монеты и те же «урлы, урлы», но на этот раз ворчливые, угрожающие.

– Бойтся, – пояснила Александра Ивановна. – Хоть и не понимает, что такое деньги, а ни за что не позволит дотронуться... Даже меня к ним не подпускает... Ну, ну, не будем трогать тэки, не будем, – принялась она успокаивать сына... Я стал довольно часто бывать у Грачевой. Ее Степан заинтересовал меня, и мне пришла в голову мысль вылечить его по системе какого-то швейцарского доктора, пробовавшего действовать на своих слабоумных пациентов медленным путем логического развития. «Ведь есть же у него несколько слабых представлений о внешнем мире и об отношении явлений, – думал я. – Неужели к этим двум-трем идеям нельзя с помощью комбинации прибавить четвертую, пятую и так далее? Неужели путем упорной гимнастики нельзя хотя немного укрепить и расширить этот бедный ум?»

Я начал с того, что принес Степану куклу, изображающую ямщика. Он очень обрадовался, расхохотался и закричал, указывая на куклу: «Папан!» По-видимому, однако, кукла возбудила в его голове какие-то сомнения, и в тот же вечер

Степан, всегда благосклонный ко всему маленькому и слабому, попробовал на полу крепость ее головы. Потом я приносил ему картинки, пробовал заинтересовать его кубиками, разговаривал с ним, называя разные предметы и показывая на них. Но, или система швейцарского доктора была неверна, или я не умел ее применять на практике, только развитие Степана не подвигалось ни на шаг. Зато он необыкновенно полюбил меня в эти дни. Когда я приходил, он кидался мне навстречу с восторженным ревом. Он не спускал с меня глаз; когда я переставал обращать на него внимание, он подходил и лизал, как собака, мои руки, сапоги или одежду. После моего ухода он долго не отходил от окна и испускал такие жалобные вопли, что другие квартиранты жаловались на него хозяйке. А мои личные дела были очень плохи. Я провалился – и провалился с необычайным треском – на предпоследнем экзамене по фортификации. Мне оставалось только собрать пожитки и отправляться обратно в полк. Мне кажется, я во всю мою жизнь не забуду того ужасного момента, когда, выйдя из аудитории, я проходил величественный вестибюль академии. Боже мой, каким маленьким, жалким и униженным казался я сам себе, сходя по этим широким ступеням, устланным серым байковым ковром с красными каемками по бокам и с белой холщовой дорожкой посередине.

Нужно было как можно скорее ехать. К этому меня побуждали и финансовые соображения: в моем бумажнике лежали всего-навсего гривенник и билет на один раз в нормальную

столовую...

Я думал получить поскорее обратные прогоны (о, какая свирепая ирония заключалась для меня в последнем слове!) – и в тот же день марш на вокзал. Но оказалось, что самая трудная вещь в мире – именно получить прогоны в Петербурге. Из канцелярии академии меня посылали в главный штаб, из главного штаба – в комендантское управление, оттуда – в окружное интендантство, а оттуда – обратно в академию и наконец – в казначейство. Во всех этих местах были различные часы приема: где от девяти часов утра до двенадцати, где от трех до пяти часов. Я всюду опаздывал, и положение мое становилось критическим. Вместе с билетом в нормальную столовую я истратил легкомысленным образом и гривенник. На другой день при первых приступах голода я решил продать учебники. Толстый барон Вега в обработке Бремикера и в переплете пошел за четвертак, администрация профессора Лобко за двадцать копеек, солидного генерала Дуропа никто не брал.

Еще два дня я был в полусытом состоянии. На третий день из прежних богатств осталось только три копейки. Я скрепя сердце пошел просить займы у товарищей, но они все отговаривались «торричеллиевой пустотой» карманов, и только один сказал, что хотя у него и есть несколько рублей, но все-таки он займы ничего не даст, «потому что, – объяснил он с нежной улыбкой, – часто, дав другу в долг денег, мы лишаемся и друга и денег, – как сказал однажды великий Шекс-

пир в одном из своих бессмертных произведений...».

Три копейки! Я предавался над ними трагическим размышлением: истратить ли их на полдесятка папирос или подождать, когда голод делается невыносимым, и тогда купить на них хлеба?

Как я был умен, что решился на последнее! К вечеру я проголодался, как Робинзон Крузе на своем острове, и вышел на Невский. Я раз десять прошел мимо булочной Филиппова, пожирая глазами выставленные в окна громадные хлебы: у некоторых тесто было желтое, у других розовое, у третьих перемежалось со слоями мака. Наконец я решился войти. Какие-то гимназисты ели жареные пирожки, держа их в кусочках серой промаслившейся бумаги. Я почувствовал ненависть к этим счастливым...

– Что вам угодно? – спросил меня приказчик. Я принял самый небрежный вид и сказал фатовским тоном:

– Отвесьте-ка мне фунт черного хлеба...

Но я далеко не был спокоен, пока приказчик широким ножом красиво резал хлеб. А вдруг, – думалось мне, – фунт хлеба стоит не две с половиной копейки, а больше? Или что будет, если приказчик отрежет с походцем? Я понимаю, можно задолжать в ресторане пять – десять рублей и приказать буфетчику: «Запиши там за мной, любезный», но как быть, если не хватит одной копейки. Ура! Хлеб стоит ровно три копейки. Я переминался терпеливо с ноги на ногу, когда его завертывали в бумагу. Как только я вышел из булочной, чув-

ствуя в кармане теплое и мягкое прикосновение хлеба, мне хотелось от радости закричать и съежиться, как делают маленькие дети, ложась в постель после целого дня беготни. И я не мог утерпеть, чтобы еще на Невском не сунуть украдкой в рот двух больших вкусных кусков.

Да-с. Я все это рассказываю в почти веселом тоне... Но тогда мне было вовсе не до веселья. Прибавьте к мучениям голода острый стыд провала, близкую перспективу насмешек полковых товарищей, очаровательную любезность чиновников, от которых зависела выдача проклятых прогонов... Я вам скажу искренно, что в эти дни я все время был лицом к лицу с мыслью о самоубийстве. На другой день голод опять сделался невыносимым. Я пошел к Александре Ивановне... Степан, увидев меня, пришел в неистовый восторг. Он рычал, подпрыгивал и лизал рукава моего сюртука. Когда наконец я сел, он поместился около меня на полу и прижался к моим ногам. Александра Ивановна насилу отогнала его.

Мне очень было тяжело просить бедную, испуганную суровой жизнью женщину о деньгах, но я решился сделать это.

– Александра Ивановна, – сказал я, – мне есть нечего. Дайте мне, сколько можете, взаймы... Она всплеснула руками.

– Голубчик мой – ни копейки. Вчера сама заложила брошку... Сегодня еще было кое-что на базар, а завтра уж не знаю, как быть...

– Не можете ли вы взять немного у сестры? – посовето-

вал я. Александра Ивановна боязливо оглянулась кругом и зашептала с ужасом:

– Что вы, что вы, дорогой. Да ведь я и так из милости живу у нее. Нет, уж лучше подумаем, нельзя ли как-нибудь иначе обойтись.

Но, что мы ни придумывали, все оказывалось несбыточным. Потом мы оба замолчали. Наступал вечер, и по комнате расплзлась унылая, тяжелая мгла. Отчаяние, ненависть и голод терзали меня. Я чувствовал себя заброшенным на край света, одиноким и униженным.

Вдруг кто-то толкнул меня в бок. Я обернулся. Это был Степан. Он протягивал мне на ладони кучку медных монет и говорил:

– Тэки, тэки, тэки...

Я не понимал. Тогда он бросил свои деньги мне на колено, крикнул еще раз «тэки» и убежал в свой уголок.

Ну, что скрывать? Я заплакал, как маленький мальчик. Ревел я очень долго и громко. Александра Ивановна также плакала вместе со мной от умиления и жалости, а Степан из темного угла испускал жалобные, совершенно осмысленные «урлы, урлы, урлы»...

Когда я успокоился, мне стало легче. Неожиданное сочувствие блажененького вдруг согрело и приласкало мое сердце, показало мне, что еще можно и должно жить, пока есть на свете любовь и сострадание.

– Так вот почему, – закончил Зимин свой рассказ, – вот

почему я так жалею этих несчастных и не смею им отказывать в человеческом достоинстве. Да и кстати: его сочувствие принесло мне счастье. Теперь я очень рад, что не сделался «моментом». Это так у нас в армии называли офицеров генерального штаба. У меня впереди и в прошлом большая, широкая, свободная жизнь. Я суеверен.